



В. В. РОЗАНОВ

Русская церковь

**ДУХ. СУДЬБА. ОЧАРОВАНИЕ И НИЧТОЖЕСТВО.
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС**

Русские были крещены в 988 г. при киевском князе *св. Владимире** от греческого духовенства. Хотя они приняли христианство еще до формального и окончательного разделения Церкви на Восточную и Западную, — однако, так как связи у них были только с одною Византиею, то, по скором отделении Византии от Западной Церкви, и русские были уведены из древнего общего христианского русла в специальный поток византийского церковного движения. Или исторически точнее: русские вслед за Византиею вошли как бы в тихий, недоступный волнениям и вместе недоступный оживлению затон¹, тогда как западноевропейские народы, увлеченные за кораблем Рима, вступили в океан необозримого движения, опасностей, поэзии, творчества и связанного со всем этим черным трудом неблагообразия. Разница между тишиною и движением, между созерцательностью и работою, между страдальческим терпением и активною борьбою со злом — вот что психологически и метафизически отделяет Православие от Католичества и Протестантства, и, как религия есть душа нации, — отделяет и противополагает Россию западным народностям.

Слишком понятно, что крестившие нас греки показались нам столь же необыкновенными по мудрости, учености, по древним связям, почти по самому происхождению, как туземцам Гвана-

¹ Так в России называются глубокие и безопасные заливные места в больших реках, куда на зиму становятся пароходы и другие суда, чтобы их не разломало осенним и весенним льдом, при вскрытии реки.

гани и Кубы показались спутники *Колумба**. Младенческий ум русских не отделял существа веры от принесших веру людей. Византийцы сразу же этим воспользовались, стараясь превратить младенческое поклонение в обязательное и суровое повиновение грубого и невежественного народа авторитету их политической, церковной и всяческой мудрости. Долгое время русские, имея уже свое духовенство, свои школы, не смели поставить митрополита из русских: ясный знак *фетишизма**, перенесенного из религии на племя, из строя церковного на строителей церковных. Византийцы частный повод своей ссоры с папами, именно упреки константинопольского патриарха *Фотия** папам за некоторые формальные отступления от «Устава церковного»¹ (другой способ печения просфор и т. п.) возвели в принцип, окружили нервностью, придали ему принципиальное значение, и постарались всю эту мелочность поводов разделения привить вновь крещенному народу, новому своему другу, помощнику и возможному в будущем защитнику своей исторической дряхлости. Разлагаясь, умирая, Византия нашептала России все свои предсмертные ярости и стоны, и завещала крепко их хранить России. Россия, у постели умирающего, очаровалась этими предсмертными его вздохами, приняла их нежно к детскому своему сердцу, и дала клятвы умирающему — смертельной ненависти и к племенам западным, более счастливым по исторической своей судьбе, и к самому корню^{II} их особого существования — принципу *жизни, акции, деятельности*. Наступил для всей России от 988 г. до 1700 года (реформы Петра Великого) период «Византийского строя», «Византийского влияния», «Византийской уставности».

Дитя-Россия приняла вид сморщенного стариucha. Так как нарушение «Устава» папами было причиной отделения Восточной Церкви от Западной, или разделения всего христианства на две половины, то Византия нашептала России, что «устав», «уставность» — это-то и есть главное в религии, сущность веры, способ спасения души, путь на Небо. Дитя-Россия испуганно приняла эту непонятную, но святую для нее мысль; и совершила все

^I *Формальные отступления от «Устава церковного* — в окружном послании, приглашавшем епископов на собор в Константинополе в 867 г., патриарх *Фотий** перечислил уклонения латинян от первоначальной церковной практики (пост в субботу, безбрачие духовенства, совершение Евхаристии на пресном хлебе, *Filioque*, миропомазание только епископами).

^{II} В «Полярной Звезде» иначе: «...и к самому принципу их особого существования — корню жизни» (С. 525).

усилия, гигантские, героические, до мученичества и самораспятия, чтобы отроческое существо свое вдавить в формы старообразной мумии, завещавшей ей свои вздохи. Как «уподобиться» Византии, — в этом состояло существо исторических забот России в течение более чем полутысячелетия. И, в конце концов, ведь форма влияет на дух. Россия чем далее — тем глубже «умерщвлялась» и духовно. «Умерщвляться» — это стало не только понятием, идеалом древней России; но это гибельное явление так и называлось этим словом, не внушавшим никаких о себе сомнений, никакого перед собою страха. Для русских «близиться к смерти» и «близиться к святости» до того слилось в единый путь, отождествилось, что даже теперь и даже образованные классы не вполне свободны от этого понятия. Оно есть нравственная и метафизическая аксиома в наших монастырях до сих пор; им проникнут и теперь весь наш народ в многомиллионной своей масse. Самые образованные люди, как *Тургенев**, как *Герцен**, и атеисты, нигилисты — в серьезные минуты жизни вдруг видят в себе возрожденную эту древнейшую, первоначальную веру своего народа: что умереть — святере нежели жить, что смерть угоднее Богу (для верующих), Высшему Существу (для философов), чему-то (для атеистов), нежели жизнь. Эта грустная и ужасная (по мнению пишущего эти строки) мысль сообщила главный нравственный колорит всей восточной, русской Европе: чего-то меланхолического и погибшего в смысле прогресса, чего-то страдающего и страшно дорогого, чему никто не сумеет помочь. И тем дороже это существо (Россия), и тем страшнее за нее. Матери в деревнях, когда умирают их дети на первом или втором году их жизни, с радостью говорят: «Славу Богу, он [еще] не нагрешил». Вы испуганы, стараетесь возразить, рассеять «предрассудок», как вам кажется. Но слышите ответ красивой, здоровой, разумной женщины: «Жить — это только грешить; так и в церковных молитвах поется: *не может человек единой минуты прожить без греха*. О чем же плакать? Мой младенец у Бога; и нам с вами (т. е. взрослым людям) не будет так хорошо там» (т. е. на небе). Русские люди, как в молодом возрасте, так и в летах возмужалости, когда силы жизни берут верх над смертными началами в человеке, когда практические нужды, служба, работа приковывают ум к реальной жизни — мало посещают церковь, подсмеиваются над церковью, религию, даже иногда отрицают Бога. Но это — возраст, годы. Самое существо «веры русской» (так называют иногда православие; но «вера русская» очевидно, шире этого церковного термина) — не молодо, не юно и даже не возмужало; и в эти годы просто человек не находит ничего себе соответственного в

храмах наших, в службах, в напевах церковных, в смысле слов, так слышимых, в церковной живописи. Все жизненное, живущее, крепкое земле, преданное труду, надеющееся на людей и их свойства человеческие, не только стерто здесь, но вырвано с корнями; и выброшена за порог церковный самая земля, на которой могли бы укрепить свои корни эти земные лилии. Вся Церковь, символически сказать, наполнена лилиями уже не земными, предполагаемо-небесными, как бы сперва умершими и потом воскресшими для какого-то странного, неосозаемого, призрачного существования «там» (на небе, за гробом). Вся религия русская — по ту сторону гроба. Можно сказать, Россия находит слишком реальным и грубым самую земную жизнь Спасителя; она слушает полуоткрытым ухом Его поучения, притчи, заветы. Все это она помнит, но умом на этом не останавливается. Но вот Спаситель близится ко кресту: Россия страшно настораживается, ухо все открыто, сердце бьется. Христос умер — Россия в смятении! Для нее это — не история, а как бы наличный сейчас факт. Она прошла со Христом всю невыразимую муку Голгофы. Но и это еще не все, не главная «сущность русской веры». В Евангелиях мы читаем, как за земною жизнью Спасителя, уже в кратких главах, повествуется о нескольких днях его бытия *после смерти и погребения*. Он — то является ученикам, то скрывается. Речи более кратки и более таинственны. [И эти] Речи и [самые] явления — все знаменует собою что-то непрямое, какую-то загробную тайну. Вот «русская вера» чрезвычайно напоминает эти заключительные главы Евангелия, бледные, не реальные, потусторонние. И русский человек не только глубоко постиг тайную красоту смерти и ползет к этой странной и загадочной красоте: но он и в самом деле умеет с величием умирать, он сам становится прекраснее в болезнях, в страданиях, в испытаниях. И особенно — прямо перед гробом. Например, у русских существует чрезвычайный страх умереть внезапно, скоропостижно, «без чистого покаяния», и наконец хотя отчасти не искупив грехов своих тяжелыми муками предсмертного боления. Точно вся жизнь кажется русским черною, а с приближением к смерти все принимает белые цвета, принимает сияние. Жизнь — это ночь; смерть — это рассвет и, наконец, вечный день «там» (на небе, с Отцом Небесным). Итак, в юности и мужестве русские не посещают храмов, учащиеся — часто кощунствуют в них. Но вот эти самые кощунствовавшие люди переходят за 50-летний возраст. Приходят болезни, давно наступили семейные тягости. Богатство или потеряно (частый случай у непрактичных русских, у расточительных русских), или не приобретено — как рассчитывалось

в молодости. Дети уже поднялись и, заботясь о себе, мало думают о родителях. Семейная жизнь не крепка и не красива у русских, кроме исключительных случаев. Итак, богатства — нет, слава — не нужна, дети — похолодели. В этом возрасте человек чувствует себя одиноким, ненужным, лишним. Вдруг, зайдя случайно в храм, — он находит здесь все родным себе, в высшей степени понятным, страшно нужным. Храм точно и ожидал этих его 50-ти лет, и еще лучше — 60; ожидал его болезней, сгорблennости, бедности, покинутости родными и друзьями; храм принимает его как друга, как родного, принимает с бесконечною нежностью, заботою, всепрощением за прошлую неправильную жизнь. Тысяча интимных, глубочайших, метафизических нитей оказываются общими у этого старца, всеми покинутого, и у этого храма, который так чтит родина, и вообще он имеет широкое признание и огромную историческую роль. Слабый стариk, больной, «лишний», вдруг нашел здесь себе отчество, почти — службу, почти ранг, положение и даже награды!! Всякий человек хочет себе определенного положения, теряется без положения; здесь, в православном русском храме, такие с всемирной точки зрения слабости, как дряхлость, немощь и убожество, как нищета и социальное ничтожество — оцениваются как положительная добродетель, как заслуга перед Богом, как небесное на человеке сияние. Человек, вот уже к 60 годам подходящий, радостно вступает на эту последнюю, незыблемую, исторически признанную (в России) лестницу — и спешит по ней. Он забывает друзей, родных для храма. Театр, зрелище, все веселое — отвратительно для него, «царство сатаны и дьявола», «духовный антихрист». Он нашел Христа — по ту сторону Его, Христова, воскресения. Его манит бледный лик Господа, с неопавшими смертными покровами, которыми Его увили *Иосиф Аримафейский** и *Магдалина**. Сам он, этот немощный старичик, немощная старушка, заготовляют для себя все смертное: в особый узелок они укладывают чистое, особо сшитое, широкое белье, в котором завещают положить себя в гроб, — и дешевый деревянный кипарисовый (никогда [дорогой] и металлический) крестик, который, полагая тело в гроб, ему наденут на шею. Этот узелок со «смертным» русские, отправляясь в дорогу по делам, не забывают взять с собою: на случай смерти в дороге — чтобы не произошло ошибки и не положили мертвого в чужом белье, а не в этом, своими руками заготовленном. И это находит себе отзовик в церкви. Вот человек умер. Женщины (непременно женщины) омывают его (ибо женщиною рожден человек и ею же он должен быть омыт и положен в гроб); надевается на него все «смертное»,

из которого исключено все богатое, всякое золото или шелк. К гробу зовут монахиню, которая все время, до погребения, и особенно непрерывно всю ночь — читает над ним псалмы Давида, любимейшую народную русскую книгу. Храм высыпает золотой парчовый покров на усопшего: ту особенную, только одними священниками во время службы надеваемую материю, которая у нас, на Востоке, так же символична и священна, как красный или голубой виссон в покровах на жертвеннике и в одеяниях священников при ветхозаветном храме. Этюю священною тканью, в сущности — ризою, одевается в гробу усопший. Никто не говорит, нигде не напечатано, что он — священник теперь. Но мысль наблюдателя открывает дальше, чем сколько смеет сказать устав. Вокруг усопшего ставят зажженные высокие восковые свечи, вставленные в серебряные высланные из храма подсвечники (особой формы: домашних, своих подсвечников нельзя употреблять). Три свечи зажигаются: и при чтении псалмов, среди этих зажженных свеч, особенно ночью, так и кажется, что вот воздвигся около усопшего свой новый временный храм; городской общественный храм, как греческая метрополия — выслала сюда свою колонию. Кто же главный в нем, кто действователь? где божество, или ангел или бесплотный дух сего временного зажегшегося храма? — Гроб! — Покойники... они живы, они суть, они — действователи в этой таинственной религии шествования к смерти; они умерли — следовательно, они как бы «боги» и, во всяком случае, выше, священнее людей! Грек, язычник, всякий сторонний, словом — привычный к многобожию человек, вовсе не знающий ничего о христианстве и единобожии, непременно передал бы так свое впечатление: «у этого народа богов столько, сколько покойников, и сколько вообще есть умерших в их стране; покойники носят одежду как священники и еще как иконы (те же характерные металлические ризы); и перед ними, как только перед иконами — кадят ладаном, читают псалмы и поют молитвы». И это общее пластическое наблюдение, сказав много нового и неожиданного самим русским (ведь не всякий и себя знает), раскрыло бы самое зерно их религиозности и религии.

При этом общем настроении, меланхолическом и гневном к земле, замерло, как бы заморожено было на семь веков песенное и играющее творчество народа-дитяти. Нет танцев около гроба, нет песен над могилою... Быт народный, все цветочки, все листочки на нем обрывались с отвращением сперва греческими монахами, крестившими и начавшими учить Русь, затем — выучившимися у них русскими монахами, и, наконец, священниками, которые хотя и не монахи по форме, но не могут получить сана

своего иначе, как пройдя монашескую [по духу и строю] школу и приняв монашеское настроение, дисциплину, миросозерцание и этику. Вообще, хотя низшее духовенство, т. е. обыкновенные священники, женато в России, и Восток гордится даже перед Западом, что не имеет у себя целибата и не отрицают, в лице духовенства, заповеди размножения: однако русское духовенство, и именно это самое женатое, неизмеримо аскетичнее католического; и в поэтическом смысле, а не в смысле чистой физиологии размножения, оно гораздо менее женато, нежели католическое. Станный дух оскопления, отрицания всякой плоти, вражды ко всему вещественному, материальному — сдавил с такою силою русский дух, как об этом на Западе не имеют никакого понятия. В католических самобичеваниях есть все-таки нервы. Тайну русского аскетизма составляет именно безнервность: плач, горе, например по усопшим, по родным, по смерти друга есть порицаемая слабость для аскета, как и бурный гнев на чужой грех, на зло — есть прямо грех, проступок и «падение» святого. Да русские святые никогда никого и не упрекали; так — легкая слеза, легкий упрек в сторону, почти безмолвно, почти только в душе. Например, святой *Феодосий Печерский** (вскоре после крещения Руси) пришел на один пир великонояжеский и, сев в стороне — заплакал. Когда его спросили, о чем он плачет, он ответил: «братья, я размышляю, будет ли так же весело на том свете (после смерти), как вы проводите весело время на этом свете». Князь и гости смутились и прекратили веселье. Кто здесь был покорнее? Святой князю? Князь святому? Оба лобызали друг другу руку в таинственной взаимной покорности, и святой также боялся (нравственно и деликатно, отнюдь не рабски) своего упрека, как князь своего веселья около изможденного молитвою и постом святого. Вот это и дает образчик характерного русского обращения к другим, влияния, действия, пропаганды: западные формы, протестантские и особенно католические, у нас немыслимы, невообразимы. Весь русский народ закричал бы «не надо» при виде первого же насилия, первой грубости ино-крещеному, ино-верному. Притеснения бывали и у нас за веру, но никогда — народные, никогда — из толпы. Всегда это были «мероприятия» чиновников, в целях национального объединения, обезличения других народностей; или, в редчайших случаях, это было действиями высшей церковной иерархии, раздраженной и оскорбленной жестокою критикою и часто действительно невыносимыми хулами религиозных «отщепенцев» официальной Церкви. Староверы русские и вообще все русские секты упрекают не только в ошибках и изменениях правительственный русскую веру, но

иначе и не называют ее, постоянно и громко, как «царством Антихриста». И притом с убеждением и пылом, какого на Западе не сумеют представить себе! Вообще из истории сектантства нужно отметить эту трогательную и нигде еще не встречающуюся черту, что 1) кричат — раскольники, шепчут — православные, 2) бесстрашны — гонимые, всего боятся, робки в слове и действиях — гонители, 3) всего надеются, ко всему рвутся сектанты, пессимистично настроен и боится шевельнуться, сделать шаг вперед или в сторону — представитель официальной Церкви. — Это сообщает самой официальной Церкви до того кроткий и смиренный вид, что, при всем понимании в ней недостатков — ее больно критиковать, хочется все ей простить, со всем примириться и умереть все-таки православным даже при отрицании почти всего Православия. Это — одна из тайн «русской веры», которая вообще и вся состоит из странных психологических и метафизических тайн, нимало не вошедших в догматики, которые все скомпилированы с протестантских и католических ученых трудов, и нимало не выражают русского церковного духа и народного религиозного настроения и миросозерцания.

Русские церковные напевы и русская храмовая живопись — все это бесплотно, безжизненно, «духовно» в строгом соответствии с общим строем Церкви. Богоматерь, питающая грудью Младенца-Христа — невозможное зрелище в русском православном храме. Здесь русские пошли против исторически-достоверного слова Божия: например, хотя Дева-Мария родила Иисуса еще юною, никак не старше 17 лет, однако с Младенцем Иисусом на коленях Она никогда у нас не изображается в этом возрасте. Богоматерь всегда изображается как старая или уже стареющая женщина, лет около 40, и держа на коленях всегда вполне закрытого (сравни с католическими обнаженными фигурами) Иисуса; она имеет вид не Матери, а няни, пестующей какого-то несчастного и чужого ребенка: лицо ее всегда почти скорбное и нередко со слезою, вытекшую из глаза. Вообще Голгофа перенесена в самый Вифлеем и вытравила в нем все радостное, легкое, все обещающее и надеющееся. Никогда не видно в православной живописи (самобытной и оригинальной, распространенной повсеместно) и животных около Вертепа Господня: коров, пастухов, маленьких осликов. Вообще животное начало с страшною силою отторгнуто, отброшено от себя Православием. В сущности, оно все — монофизично, хотя именно на Востоке монофизитство* как догмат было отвергнуто и осуждено. Но как догмат — оно осудилось, а как факт — оно обняло, распространилось и необыкновенно укрепилось в Православии и стало не одною из

истин Православия, а краеугольным камнем всего Православия. Все это выросло из одной тенденции: истребить из религии все человеческие черты, все обыкновенное, житейское, земное, и оставить в ней одно только небесное, божественное, сверхъестественное. Так как, в сущности, метафизичнее смерти ничего нет, и ничего нет более противоположного земному, чем умирающее и умершее: то в этой крайности направления Православие и не могло не впасть в какой-то апофеоз смерти, бессознательный для себя и однако мучительный. Отсюда такая искажающая истину тенденциозность, как представление Богоматери почти старухою; таково утверждение, что Богоматерь и «до рождения», и «во время самого рождения», и «после рождения Спасителя» осталась девою, хотя в Евангелии сказано, что она принесла в храм двух горлинок, что делалось еврейками по окончании женского послеродового очищения, и, будучи жертвою за нечистоту этого процесса, не могло быть принесено Св. Девою без него. Да и физический акт родов младенца, все равно, если рождающийся был и Бог, однако же Имевший физическое тело именно младенца, не мог совершиться без нарушения главного и единственного признака девства, именно без разрушения девственной плевы. В Евангелии, при указании принесения в жертву двух горлинок, так и изложено это событие, как совершившееся в обыкновенных человеческих чертах. Но православные неодолимо гнушаются внесением «обыкновенного» в религию: и вопреки тексту Евангелия бурно утвердили так называемое «приснодевство» Марии, т.е. они, в сущности, как бы закрыли ладонью евангельское событие и сочинили на место его другое, свое собственное, чисто *вербальное, словесное*. В грамматике человеческого языка, конечно, никакого нет препятствия выговорить: «пребыла девою в родах». Но от слова до дела — пропасть! Православные, и, конечно, опять *только на словах*, перепрыгнули через эту пропасть, сочинили свою *вербальную* концепцию Вифлеема, выжав всякую кровинку из него, все соделав сплетенным из воздуха, фантазии и небылицы, и поклонились своему бесплотному рассказу вместо того, чтобы признать полное реальности воплощение Бога-Слова. Но вот, насколько воздушно и словесно выражено Рождество Христово, настолько ярко выражены, хотя бы в праздниках и в построении храмов, Успение Пресвятой Богородицы и Покров Пресвятой Богородицы. В России есть множество храмов Успения Божией Матери, и русские государи коронуются в Москве в Успенском соборе; самый строгий двухнедельный пост — Успенский же; день Успения Пресвятой Богородицы — один из величайших годовых праздников. Здесь центр события — смерть,

слезы. И событие вознесено и объято русским народом с трогательной глубиной и нежностью. Наконец, очень любим праздник Покрова Богородицы (1-го октября) и очень часты храмы в честь Покрова Богородицы: между тем предметом его служит одно из чудес, совершившихся, по преданию, в Константинополе от погружения ризы Пресвятой Богородицы в море. Русские (еще языческие) суда приближались к Константинополю с моря; не имея защиты, цареградцы погрузили чудотворную ризу в море; произошла буря и разметала русские суда. Но здесь с великою силой русское сердце обняло чудо. Чудо, т. е. сверхъестественное, и, следовательно опять же отвержение земли, презирание земного порядка вещей — обнято с величайшей глубиной русским чувством и русским воображением. Русские не боятся чуда. У них никакого нет страха перед ним. Они умиляются на чудо, видя в нем как бы разверзшиеся на человека Небеса: единственное, чему они хотят поклоняться, что считают достойным поклонения. Великие концепции философии, пусть даже религиозной философии, — все это для них не стоящая внимания вещь, как всякое человеческое, обыкновенное, не сверхъестественное. Но, например, по молитве святого больной встал и выздоровел: тогда русский падает на землю и целует прах под ногами этого святого, ибо он увидел здесь манифестацию чего-то не человеческого.

До какой степени все радостное, земное, всякое просветление через религию собственно самой жизни и ее условий враждебно основным тенденциям Православия, видно из глубокой изуродованности семейной жизни у духовенства. Русские гордятся, что у них нет целибата. Но они допустили брак священников почти только арифметически и вербально, только по имени, истребив с величайшей жестокостью все, откуда брак возникает и что его окружает. Брак возникает из любви, — но Церковь не допускает самого слова «любовь», боится и презирает то плотское чувство, «эстетическое восхищение», которое выразилось у Адама при виде сотворенной для него Евы¹. Русский священник уже принял сан, не может жениться. Если бы он принял сан священника, не женившись, и потом захотел бы жениться, ему не будет этого дозволено. Таким образом у русских существует целибат же. Но наряду с этой супровостью и сухостью, с этой враждой к семье и браку, Церкви Восточной хочется упрекнуть Западную за целибат и осудить ее за отрицание заповеди: «плодитесь, множитесь». Как же этого достигнуть? Построена одна из хитрых византийских паутин мысли, чтобы в одно и то же время отверг-

¹ Быт. 2 : 18. См. Быт. 2 : 20—25.

нуть и признать, как будто благословлять и вместе с тем ненавидеть: семинарист должен жениться (и это, до самых последних лет, было обязательным для всех правилом) в несколько недель, дляющихся между выходом из духовного учебного заведения и принятием сана. В эти несколько недель он должен приискать невесту среди духовенства же близких приходов, и, как никакой любви не может возникнуть сразу, то единственным основанием брака служит гнуснейший и открытый торг о приданом. Священник будущий берет за невестою, смотря по тому, кончил ли он курс в семинарии или в духовной академии, от одной до пяти тысяч рублей, и тщательно выговоренное вещественное приданое, платья шерстяные и шелковые, посуду чайную и столовую, серебряные ложки чайные и столовые (обеденные), мебель и проч. Ни в одном из русских сословий, даже среди полунищего крестьянства, среди мещанства и купечества, не происходит такого грубого торга о приданом невесты, как в духовном сословии,

[и вина здесь не в женившихся молодых людях из духовенства, а в уничижительном церковном взгляде на брак как просто на случку животных, но только пожизненную, и одного самца с одною самкою, при полном исключении других мотивов брака, этических и эстетических, средства душ, дружелюбия, уважения. Таким образом, вопреки Библии, в разрушение ее слова, церковь русская выкинула вовсе любование Адама на Еву и сотворение ее Богом в удовлетворение столько же духовной нужды Адама, сколько и физической. Слова Божии: «не хорошо быть человеку одному», «с сотворим ему помощницу, соответственную ему» (Бытие, гл. 2) — противны русскому слуху и выброшены вон, как руководительные нормы при устроении брака Церковью. Нужно заметить, что так как абсолютно бесплотный идеал непереносим для человека, ибо по самой природе своей человек не монофизитен, то у русских и православных вообще плотская сторона в идее вовсе отрицается, а на деле имеет скотское, свинское, абсолютно бессветное выражение. Брака по существу вовсе бы не должно быть. Но насколько он есть и допускается и законодательно регулируется, это есть голое и безлюбовное размножение, ряд случек самца и самки для произведения «духовных чад церкви» (обыкновенный мотив при рассуждениях о браке духовных писателей). Свет младенца, радости родительские, теплота своего угла, поэзия родного крова — все это непонятные русскому (кроме образованных, атеистических классов) слова, все это недопустимые с церковной точки зрения понятия; церковь допус-

кает, что если супруги вступают в соединение, то должны иметь при этом цели, какими приблизительно задается католический патер, идя в дикие страны: последний, крестя дикарей, увеличивает паству римского епископа, а русская чета должна думать не о себе, а о том, что через рожденных от нее детей, обязательно крестимых в православие, возрастет численность православного населения и мощь веры... Самим родителям, самой семье не уделяется Церковью никакого внимания, не допускается в идее никакой их интерес. Договорим о браке священников: обвенчавшись, он спешит к епископу за получением места, и немедленно посвящается в сан священника или диакона. При этом он снимает обручальное кольцо и во всю жизнь не имеет права носить его. Бывают частые случаи, что священник теряет жену в первый же год брака, или на второй, на третий год, и остается с 1—2 малолетками. Хотя Православная Церковь называет себя «матерью чад своих», т.е. всех православных, и хотя она облита слезами скорби, и старается иметь вид жалости ко всем тварям, — она остается черства, тверда и суха к положению этих несчастных священников, не допуская ни под каким видом их до второго брака, не дозволяя взять мать для осиротевших детей, хозяйку для разваливающегося дома. Хотя небезызвестно всем, из посмертных рассказов, да и из свидетельства очевидцев, что с этого именно времени многие священники впадают в запойное пьянство от не-привычного одиночества, или предаются картечной игре, или вступают в связь с женской прислугой и с дальными, живущими в дому их, родственницами. Вытекает это из того, что уже и первый брак дан им для того, чтобы иметь повод упрекнуть католиков за безбрачие, но без всякого вовсе чувства брака, сочувствия к нему, поэзии около него.

В силу этого семья вообще у русских стоит невысоко, ибо и для прочих мирян, для всего народа, условия вступления в него выработаны также жестко, сухо, отталкивающе. Все библейское учение о браке вовсе отменено; все библейское чувство семьи и брака вовсе неизвестно в Православии, и, если бы где проявилось [фактически] — вызвало бы величайшее озлобление против себя.

[Так с ненавистью и Церковь, и православные люди смотрят на супружество двоюродных, на брак дяди и племянницы, не говоря уже о библейской полигамии, которая вызвала бы ужас; по закону нашему за это ссылаются в Сибирь. Смотря на брак только как на безлюбовную, животную случку, в интересах увеличения душ христианских происходящую, церковь смотрит на вся-

кую поэтизацию брака, на всякое стремление внести сюда свет и даже хотя бы простую упорядоченность, — как приблизительно на попытку восстановить язычество. Как бы ни ненавидели супруги друг друга, церковь этим не тревожится и не беспокоится; а по требованию знаменитого иерарха русской церкви, митрополита Московского *Филарета*^{*}, который считается почти святым¹ и вместе первенствующим авторитетом церкви за XVIII и XIX века, было уничтожено право жен просить развода в случае не только жесточайших побоев мужа, но и доказанной на суде попытки его убить свою жену. Видно, что это не доходит скорбью до сердца церкви. Это есть малый интерес для нее, сравнительно с морской бурей, произведенной от погружения ризы Богородицы в море в X веке. Вообще церковь православная монофизитна не только в той тенденции, что из «воплощения Сына Божия» изъяла собственно «плоть», «воплощение», — но и в той другой и более вредной тенденции, что она вообще глубоко бездушна и суха ко всему житейскому, всей жизни, всему реальному, действительному миру. Что она его отрицает, это было бы безопасно; но она его разворачивает тем, что не допускает религиозному свету проникнуть в материю, в жизнь, в человеческие отношения. Или, точнее, она пропускает сюда свет так преломленный, что он разрушает, а не преображает. Момент «преображения» (без отрицания) вовсе неизвестен православию иначе, как на словах, в словесных фетишиах.]

Из этого общего склада Православия вытекло учреждение *обер-прокуратуры при Святейшем Синоде*^{*}; [не столько, впрочем, учреждение, возникшее совершенно случайно, сколько необыкновенная прочность его, несмотря на явную антикафоличность этого учреждения и всеобщую нелюбовь к нему народа и общества.] Первоначально эта должность была учреждена Петром Великим из опасений соперничества с царскою властью честолюбивых патриархов, чему пример был дан *патриархом Никоном*^{*}. Петр вообще был человек очень сильного воображения, чрезвычайной мнительности и опасливости, переходящей в робость и испуг; таков он был, несмотря на кровавый ореол свой, грозный характер и неукротимую энергию. Хотя Никон боролся против его безвольного («тишайшего», по выражению летописей) отца и все же был побежден, так что, очевидно, никакой патриарх не мог бы одолеть великий в народе авторитет царя, — однако Петра пугали даже тени, даже возможности, и он отменил вовсе

¹ Причислен к лику святых в 1994 г.

патриаршество, учредив на место его так называемый «Синод»¹. Он состоит из собрания 8—10 иерархов, митрополитов и епископов, вызываемых «к присутствованию» указом Государя. А как Государь, поглощенный военными и дипломатическими отношениями государства, да и другими бесчисленными заботами по внутреннему управлению, не имеет, конечно, возможности знать личный состав духовенства, то назначение последнего на места епископские, архиепископские и митрополичьи — происходит по рекомендации особого чиновника, на правах ministra, представленного к Синоду, [— обер-прокурора его. Чиновник этот приставлен был к Синоду,] дабы следить за согласованием действий духовенства с гражданскими законами, и вообще с интересами государства, равно чтобы предупредить всякие попытки честолюбивых духовных особ последовать по пути Никона. В XVIII веке такими чиновниками преднамеренно назначались иногда атеисты или вольнодумцы, любители философии Вольтера* и энциклопедистов*: дабы они могли холоднее и бездушнее давать отпор особым притязаниям духовенства, и вообще постороже за ним присматривать. Эти светские философы были в то же время деятельными чиновниками, добросовестными, трудолюбивыми; и в XVIII же веке они начали выступать на защиту приниженного низшего сословия духовенства, именно священников (семейных) против монахов-иерархов, которые составляют аристократию Церкви. В XVIII веке они мало-помалу заставили ленивое и необразованное монашество заниматься по крайне мере административно, чиновно делами, до Церкви относящимися. Весь строй церковный стал преобразовываться, сохраняя религиозные формы, в обширное «Ведомство» или «Министерство духовных дел», причем архиереи (епископы) мало-помалу уравнялись с губернаторами и вице-губернаторами (викарные епископы), а обыкновенные священники стали местными духовными наблюдателями за населением, наподобие становых и квартальных, но только в торжественном духовном одеянии и с правом совершать таинства и службы. Движение это усилилось с императора Павла*, когда и священники, и епископы — все стали получать награды орденами, как и обыкновенные чиновники. Все это отвлекло духовенство от собственно духовной стороны и развило в нем все страсти светской службы: искательство

¹ Отменил вовсе патриаршество — после смерти в 1722 г. Стефана Яворского — местоблюстителя патриаршего престола, Петр отменил патриаршество, и управление церковью полностью перешло к Синоду. В 1917 г. патриаршество было восстановлено.

у начальства, которым является светское начальство, и жадность к денежному прибытку, который почерпается у прихожан. Но более опасно сделалось положение духовенства и всей Церкви с тех пор, как на должность обер-прокуроров стали восходить люди не только обширного образования, но и сильного религиозного настроения. Таков был состоявший долгое время обер-прокурором Синода *Победоносцев**. С этой переменою обер-прокуроры сделались не защитниками только государства от Церкви, а руководителями Церкви. Не связанные никакими обетами священства, они в то же время являются фактическими главами Церкви, в ее наличный текущий момент. Правда, они не могут ничего прибавить или убавить в догматах Церкви, в сложившемся учении ее, — хотя и об этом можно сказать, что они до сих пор не трогали этих археологических святынь Православия и *прямо* никогда не смогут тронуть их [особенно косвенно и постепенно]. Но, например, от обер-прокуроров зависит назначение профессоров в духовные академии и в семинарии, [и] назначение тех или иных монахов на епископские и митрополичьи кафедры, и их вызов в Синод: слишком понятно, что, не покровительствуя *прямо* таким-то мнениям, таким-то направлениям в богословии, они могут покровительствовать, давать занятия и должности и раздавать ученые и административные кафедры людям, держащимся такого-то, хотя бы еретического, образа мыслей, и подавлять людей противоположного образа мыслей. Хотя до сих пор не было примера, но со временем они могут таким образом оказать влияние и на «сокровищницу древностей» Православия, в составе ли ее догматов и учения, или — обрядов. Наша обер-прокуратура, глубоко сковав, до полной неподвижности, черную, монашескую иерархию, и усиливаясь улучшить положение белого духовенства, имеет характер не столько светского папства в Церкви, в чем ее упрекали очень многие светила нашей литературы, публицистики и науки, сколько скорее смотрителя-врача около слабого больного, около душевнобольного с приступами временного буйства: причем роль ее и полезна, и необходима, а вместе с тем совершенно беспримятельна, ибо обер-прокурор, этот обвиняемый «папа со шпагою», слетает с должности и заменяется противоположным по первому мановению Государя. Само собою разумеется, что при такой шаткости положения он никак не может походить на папу. Все дело проще, и вместе оно страшнее. «Церковь — не от мира сего», учила о себе Церковь, возлюбив и власть, и ордена, и отличия, а паче всего не пренебрегая деньгами. Глубокая скорбь прошла через душу русскую, в ее идеализме ужаснувшуюся этому двуличию. Тогда, в лице власти,

душа русская решила сохранить для народа весь декорум религии, «святую сокровищницу древностей», и в то же время осторожно арестовать или взять в опеку или под присмотр всех этих носителей исторической святыни, дабы они не рассыпали и не растеряли чего, да и вели себя около святыни не соблазнительно для народа. О самой же святыне душа русская, насколько волнуется или размышляет, или ничего не думает, или думает, что там в ящиках — пусто; таково мнение образованных классов; простой же народ и вообще неразмышляющие взирают с умилением на позолоченные ящики, в которых несут эти святыни, и занимаются рассматриванием их украшений, часто из чистого золота и усыпанных драгоценными камнями. [Вот что такое знаменитая русская обрядность и уставность. Под нею], но в основе дела — стража, опека. Самое удобное для этого — привычные чиновные ряды, чиновная иерархия, чиновные служебные награды и дисциплинарные взыскания. Едва какой-нибудь епископ начинает вести себя, в личной биографии, соблазнительно, или оказывает сопротивление воле обер-прокурора, или даже настояниям приставленного к нему местного чиновника, секретаря духовной консистории, который назначается обер-прокурором и сносится только с ним, — так его или переводят на худшее место по службе, т. е. в более бедную епархию, или даже вовсе «увольняют на покой» («на отдых»). Под этим скромным и милосердным выражением скрывается увольнение от должности, т. е. возвращение к состоянию простого монашества. Причем епископ, живший во дворце, получавший несколько тысяч рублей дохода, и перед которым трепетало и склонялось до земли духовенство целой губернии, получает келью (маленькую комнатку в монастыре), без права покинуть ее, переместиться на жительство в другое место, и даже с постоянным надзиранием за посетителями такого отставного епископа, и — скучный монашеский стол. Очень ядовито указывается светскою властью, что ведь монах и «отрекся от всего земного», ему «богатства и свободы не нужно», он «не имеет права желать этого по монашескому обету». Но умалчивается, что ведь светская же власть и разожгла в этом «монахе», как и во всем образованном (полуобразованном) монашестве все аппетиты власти, почести и богатства. Теперь это выводится из обыкновения, но было все века обычаем, что духовенство белое не иначе встречало приезжающего в епархию (на управление) епископа, как стоя рядами на коленях; и когда он подходил, благословляя их и говоря им трогательные слова из ап. Павла, они в рабском страхе клали седые головы свои на каменный помост церкви — как еврейские рабы перед фараонами на изображени-

ях обелисков и пирамид. Так еще в 1888 году я видел именно эту картину поразившей меня встречи епископа Орловского Мисаила духовенством города Ельца. И этот добрый и простой епископ не искал унижения, но его предшественники, да и весь церковный строй Православия, склонил старческие выи семейных людей перед входившим в храм 45-летним «ангелом» (монахи в Православии именуются «ангелами земными, небесными человеками»). Не падая до земли, но еще более трепеща, встречается этот «ангел» с обер-прокурором и даже его товарищем: усталым, нервным, заботливым чиновником в виц-мундире, который осторожно наведывается у секретаря местной консистории:

- Этот ангел не пьет?
- Этот ангел не посещает тайно какой-нибудь женщины?
- Взяток не очень много берет? Может быть, совсем не берет?
И слыша:
- Не берет взяток.
- К попам милостив.

— Довольно учен, по крайне мере — не неуч, — слыша это, представляет его к звезде, которую «ангел» носит с несравненно большим удовольствием, нежели привычный, ординарный, у всех имеющийся нагрудный крест. Но народу этого не видно. И в то время, как священники склоняются перед епископом в рабском страхе, — он, народ, склоняется перед «пастырем и архиереем, видимым олицетворением Христа, чуждым страстей и помышляющим об одном небесном», с чувством богомольного, боготворящего умиления, с чувством восторга. Духовенство наше, особенно в высоких рядах монашества, чрезвычайно любимо, до обожания, до обожения.

В общем, однако, Русская Церковь увядает своим особым способом, по своему особому типу, повинуясь своему особому закону и траектории полета, как и две другие Церкви, католическая и протестантская. Во многих отношениях она занимает середину между ними. Она более уязвима в своих слабостях, немощах; и менее заслуживает упреков в высотах, в порывах. Ее страдание — углубления, рытвины, тогда как, напр., в католичестве — патологичны именно горы. Но это все равно. [Все три Церкви страшно быстро понижаются в своем уровне, и это движение неудержимо, как высыхание средне-азиатских озер и морей, как неудержимо исчезновение лесов с цивилизацией. Вообще все христианство, в его кристаллических, оформленных явлениях (церкви) тает; оно гаснет, догорая, и уже во многих местах только чадит, дает зловоние и угар.] Причина этого в том, что христианство вообще не космологично, — и поэтому не может ни согласо-

вать себя, ни с силою и правом противостоять космологическому знанию человечества, выросшему в форме наук. Увы, «люби ближнего» — никак не отвечает на вопрос о составе света, химических соединениях, законе сохранения энергии. Христианство более и более сходит к моральным трюизмам, к прописям то легоньких, то трудных добродетелей, которые не могут помочь человечеству в великих вопросах голода, нищеты, труда, экономического устройства. Поневоле Христианство занимает только уголок в современной цивилизации, когда в младенческие средние века оно окрашивало и имело силу *очернить* всю цивилизацию. Цивилизация не то, чтобы не хочет подчиниться Христианству: но Христианство не умеет и не имеет никаких способов и, наконец, отчасти не хочет подчинить себе цивилизацию, по разности категорий, в которых выражены оно (христианство) и она (цивилизация). У них нет зубчатых, взаимно цепляющихся колес, какими они могли бы захватить друг друга. Христианство вдруг оказалось *ограниченным*, не всеобъемлющим, не универсальным, когда оно выдавало себя за таковое и очень долго его принимали за таковое. Ни которая из Церквей и наконец все Христианство не может ответить на самые мучительные вопросы ума, на самые законные требования жизни;

[и цивилизация не столько враждебна к нему, сколько получает неожиданную возможность, почти невольную необходимость, смотреть на него почти с грустью и с жалостью, как на младенца, или, пожалуй, как на впавшего в младенчество старичка, который не умеет посоветовать, наставить выросших своих детей, да даже и понять как следует их горести и нужды не умеет же. Можно заметить, что] самые мудрые из прелатов и епископов, из проповедников и богословов, все же имеют какое-то несовершенное сравнительно с первоклассными учеными, поэтами, агитаторами. Л. Толстой* не потому не мог бы подчиниться папе, что он — другой веры, иной Церкви, иного племени; но оттого, что свободное образование Толстого выше, чище, искреннее и основательнее, чем ныне уже *искусственное и условное образование* папы. То же можно приложить к первым пасторам, к митрополитам. Толстой учится разному 1) у русского мужика, 2) у Шопенгауэра*, 3) у Будды*, 4) у Мопассана*. Все это — естественное и живое дерево, и Мопассан, и Шопенгауэр, и русский мужик. Тогда как папа весь делится на два существа: 1) я его, которое скрыто и мы вовсе не знаем, что же именно в конце концов он думает и знает, и 2) сан его, который очень много думает по рубрикам своих обязанностей, но все это уже не живое, не на-

стоящее в нем; все это — одеяния, повешенные на манекен, ими скрытый, но одеяния потому только и не падают на пол, что их все же держит собою этот манекен.

· · · · ·

[Мы хотим этим сказать, что вольнолюбивая и страдальческая мысль человеческая и сердце человеческое давно переросли условную и искусственную фразеологию богословия и богословов. Религиозное мышление, в пределах схемы христианской, давно представляет собою иссохшую мумию в драгоценном саркофаге, о которой никто не заметил даже момента, когда же именно она перестала жить и дышать. Всегда она была та же; всегда страшилась изменить свои черты; всегда считала себя «истиною». И никто не заметил времени, когда эта «истина» с недвижными чертами перестала быть кому-нибудь нужна и занимательно.]

Живы, энергичны теперь только секты, которые именно в движении поставили себе задачу. Но то, к чему движется каждая из сект, в сущности, содержитя в сердцевине уже бездыханного организма. Все секты, протестантские, православные, католические, не имеют ничего нового и оригинального в себе сравнительно с той Церковью, которой они якобы противополагаются, а в сущности — от которой отделились не более, чем сук от ствола.

· · · · ·

В обществах европейских еще надолго останутся так называемые «христианские чувства»: как в доме, где жил человек, еще долго остается «дух его», строй его мысли и чувств, и даже заведенные им «порядки». Но это уже не цельный организм, хотя бы даже в степени «организма (системы) чувств». Христианство сохранится в европейской цивилизации более всего в виде существующих афоризмов, прекрасных изречений, великолепных практических и этических «максим» (= правил), и нет никаких причин, чтобы эти прекрасные выражения не истогали у отдельных людей и особенно в отдельные моменты их жизни, то тяжелые вздохи, то прекрасные слезы. Но это вовсе не то, что основа и фундамент жизни. Основою и фундаментом жизни европейского человечества давно уже служат: 1) экономика, 2) знания (науки). Но где же метафизика? мистицизм? — без которых не обходился ни один великий народ и ни одна великая эпоха.

Может быть, суждено европейскому человечеству выработать свою оригинальную метафизику и оригинальный мистицизм,

который выразил бы отношение к Богу лица европейского, между тем как до сих пор европейцы, очевидно, пользовались собственно еврейскими формами отношения к Богу (Библия, апостол Павел). По всему вероятию, сюда войдет многое, но совершенно переработанного и бесконечно углубленного, язычества — как в его эллино-римских элементах, так и особенно в германо-славянских элементах. Песни народные, эпос народный — они также хватают за сердце человека. Детские песни, колыбельные песни, бытовые песни — они мотивами своими, и тонами своими, и содержанием своим говорят иногда так же много, как песнопения Церквей. Но они подвижны, живы, прилипают к сердцу человека, свежи и разнообразны, как сама жизнь: и в этом отношении они выше литургий, слишком схематичных и общих, и не отвечающих человеку на скорбь этого часа, на радость этого дня. Но это — только лирика. Спрашиваем еще раз: где же метафизика?

Человек метафизичен по самому существу своему: и если он воспринимает религии, усваивает одну или другую, слушает проповедников, то потому именно, что он раньше услышанной проповеди есть уже исповедник, священник до оформленного священства, и пророк до оформленвшегося пророчества. Вот этим-то врожденным метафизическими вопросам человека Христианство и не сумело дать ответа, не только удовлетворительного, но и никакого; и от этого оно угасает. Что такое человек до рождения, и что такое самое рождение? Что такое человек после смерти, и что есть самая смерть? Что такое грех? С чего начинать его, с какого «А»?

И каков способ «снятия проклятия, греха и смерти» с человечества? Здесь мы запутываемся еще более. Адам пал потому, что не послушался Бога; неужели дети Адама, все человечество, «искупились» тем, что избраннейшее племя из этого человечества и в царственном граде этого человечества, в граде священников и пророков, подняло руку и умертвило... Бога!! Бога ли? — вот вопрос! По основному воззрению Христианства, было убито именно существо божественное, «Сын Божий»; неужели Отец Его, «Отец наш, Сущий на Небесах», простит нам грехи наши в отношении друг друга, ложь нашу, жестокость нашу, войны наши, вероломство наше потому именно и потому особенно, что мы замучили и умертвили Его Сына? Ведь то особое наказание, которое евреи понесли за смерть Его, наказание отвержения, рассеяния и разорения, — его должны бы понести все народы, целое человечество, если смерть Спасителя имела отношение ко всему

человечеству? Не все и евреи распинали Его, а горсть, кричавшая на дворе Пилата: но потерпели наказание *все*, — и жители Вифлеема или Назарета, как жители Иерусалима. Параллельно, если взять планету нашу, которую «искупил» Иисус, то, очевидно, и она должна была быть наказана *вся* за смерть Иисуса, т. е. во всех частях человечества. Или евреев не надо было *всех* и сплошь казнить; или уже казни достойно все человечество, и германцы, и русские. «Казни», мы говорим: а ведь начали говорить о «снятии греха, проклятия и смерти». Где же именно *оно*, это *избавление*, это *облегчение*, эта *радость и белый свет*, будто бы связующийся с Голгофой? Для евреев — гибель, а для нас... чахотка, рак, убийства, грабежи, сифилис. Где же знаки «искупления»? и вообще метафизической перемены в самом *бытии* человечества? Все — ветхозаветно, даже хуже, чем ветхозаветно: ибо до «искупления» человечества и до проповеди Иисуса в одном небольшом городке, в маленькой стране, нашлись же такие люди, как Мария и Елизавета, как две сестры Лазаря, Мария Магдалина и Самарянка? Нашлось 11 простолюдинов с разумом и сердцем Апостолов; и Никодим, и Закхей, и даже все эти, с великим сердцем, прокаженные, слепорожденные, расслабленные, блудницы, мытари! Вот *эмпирический материал*, который уже *ранее* Его был и который Иисус нашел *готовым* в «проклятом» месте: ибо Иерусалим был проклят и обречен гибели после Него. Ну, хорошо. Было за что проклясть Иерусалим, и основать новую религию на развалинах древней. Так может быть теперь мы найдем, в Париже или Берлине, еще Самарянку? еще Иосифа Аримафейского? еще 11 Апостолов? и Марию с Елизаветою? Гомерический хохот, который раздался бы на этот вопрос в ответ, показует, до чего *эмпирический человеческий материал*, найденный уже *готовым* Иисусом в Иудее, был выше того, который Он Сам оставил после Себя маленькой планете, с жалким, скорбным и недоумевающим населением.

И, наконец, добро, благо умиротворения и любви, принесенные Им на эту скорбную планетку?.. Как молил за *Содом и Гоморру** Авраам Бога: «Если не достанет до 50 праведников, то неужели тогда Ты казнишь его? если не достанет 40? 30? и, наконец, только 10?» — «Если найду в Содоме десять праведников, то пощажу весь город ради их» (Бытие 18: 24—32), вот решение Божие, решение *ветхозаветное*. А мы учим, что Ветхий Завет был *жесток* сравнительно с Новым. Но если пересчитать святых лиц, удивительных, трогательных, выше которых не видал мир, в Евангелии, т. е. в Палестине *во время Иисуса* и, так сказать, у ног Его, — то их найдется гораздо более 50! И однако Палестина

не была пощажена, хотя и остальные-то ее жители все же не были содомляне, а только верны Моисееву закону о субботе да «преданиям старцев», линия которых началась от достойного Ездры. Таким образом смутна для нас не только надежда, что мы «искуплены от греха, проклятия и смерти», но и какая-либо уверенность, что новозаветная жизнь имеет преимущества перед ветхозаветною, и что даже в зерне всего дела лежит... подвиг любви и милости, Небесного ли Отца к нам, Сына ли Его к человечеству.

Во всяком случае, размышляющие люди имеют причину сомневаться в *мессианизме* всего христианства, и, следовательно, о лице Иисуса как Мессии. Наш-то сифилис? регистрация-то домов терпимости? Слишком малые знаки, чтобы Мессия «уже пришел». А войны? крестоносные? за испанское наследство? за австрийское наследство? Слишком малые знаки, чтобы «овца уже легла около тигра»: а между тем *именно по этому предсказанию* пророка Исаии мы и узнавали Христа. «Вот, когда придет *такой*, что *это* принесет: то смотрите, он и будет Мессия». Мы смотрим — и не узнаем!! Да и Сам Он и Себе ничего подобного не предсказал:

«Огонь пришел низвести Я на землю: и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!

«Крещением должен Я креститься: и как Я томлюсь, пока сие совершиится!

«Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но — *разделение*.

«Ибо отныне пятеро в одном доме станут *разделяться*, трое *против* двух и двое *против* трех.

«Отец будет *против* сына и сын *против* отца; мать *против* дочери и дочь *против* матери; свекровь *против* невестки своей и невестка *против* свекрови своей» (Луки, XII, 49—53).

Таким образом не одна эмпирическая наличность *истории христианства*, но и самое *учение Основателя* его, если сопоставить его с *предсказаниями* о Мессии, что вот Он «льна курящегося не загасит» и «трости надломленной не сломит» (Мф 12: 20), и что с пришествием Его «ляжет овца около тигра» (Ис. 11:6), — побуждает многих начать спрашивать в сердце своем: «точно ли Мессией могли быть высказаны эти предсказания? И с таким очевидным выражением желания, чтобы они исполнились?»

Самый спор Его с Иерусалимом, вращающийся около *субботы*, нам христианам кажется, будто шел о *филантропии*, и что вот ей *противились злые евреи*; но для евреев того времени и до наших времен очевидно, что филантропия вовсе не входила сюда

никаким элементом, ибо Его спрашивали, почему Он не исцеляет в *другие дни*, в которые, конечно, Он мог бы исцелить; мог бы еще филантропичнее исцелить в пятницу или в четверг. Для евреев ясно было, что Он борется против «почил Бог от дел своих в *седьмой день*» (Быт. 2:2) и «пусть никакого дела не творит человек в *седьмой день каждой недели*» (Исх. 20:10). Врачи теперь лечат и в седьмой день — и это хорошо. Но так ли хорошо, что и булочники пекут хлеб в седьмой день? И что лавочники в лавках, и мастеровые в мастерских, увы, давно лишены отдыха в «седьмой день». Иисус, который мог бы исцелять и по *четвергам* и по *средам*, явно боролся против абсолюта «праздника», и за него вступились евреи по глубокому инстинкту, что стоит потрясти абсолюта чего-нибудь, как потрясется и вся эмпирия, на этом абсолюте построенная, т. е. что у человечества — и у русских, и у немцев — будет отнято в году 52 дня абсолютного отдыха. В этом случае, как и вообще во всей концепции евангельской истории, христиане наивны, как дети. «*Жиды были злы и убили Иисуса, потому что Он был добр.* Но добрый Бог наказал злых жидов: а царство и жребий их передал *нам*, которые *добрее всех народов на земле*».

Тем не менее все предречения Иисуса оправдались, и некоторые, как о гибели Иерусалима, Он сказал не как волю Отца своего Небесного, но как Свою волю. Предсказал с подробностями столь значительными, что не остается сомнения, что Он проникал в будущее и повелевал векам: «вот, оставляется *дом ваш пуст*» (Мф 23:38); «камня на камне не останется от стен сих» (Мф 24:2), «скажут горам: падите на нас! и холмам: покройте нас!» (Лк 23:30). И, наконец, уже приведенное место о «мече и разделении», которое действительно раздирает христианскую цивилизацию, как никакой меч и никакую цивилизацию. Что же это такое? Скажем ли мы, что это доступно было *Сократу**? *Платону**? *Будде**, *Конфуцию**, *Лаодзы**, *Магомету**? Нет — нет: Иисус не просто выдается в ряду их, но Он вовсе *не есть то, что ряд этих людей*. Иисус не человек, а Существо, и Евангелие есть действительно сверхъестественная книга, где передан рассказ о совершенно Сверхъестественном Существе, и самые события сверхъестественны же. При этом мы разумеем не чудеса Иисуса, которые могли быть апокрифичны или легендарны. Единственное и главное чудо, и притом уже совершенно бесспорное, — есть Он Сам. Даже если согласиться с крайними скептиками, уверяющими, что Иисуса никогда не было и что миф есть самая история, самый сюжет евангельский, то все же отсюда скептики не получат никакой пользы: вымыслить такое Лицо, со всей красотою Его

образа и непостижимыми Его речами, так же трудно, и невероятно, и было бы чудесно, как и быть такому Лицу. Предположим, что Платона никогда не было, а был кто-то, приписавший ему диалоги, на которых поставлено имя «Платон». Плохая шутка: этот, кто написал их, пусть имя ему будет Сидор, а не Платон, и был он перс, а не грек, все равно — и был как гений *Платон*, с тем именно содержанием в голове, какое мы приписываем Платону. Ведь мы и все человечество не от того признали Иисуса «Сыном Божиим», что так велели нам апостолы, что это завещали они нам хранить как *веру*? но мы сами и волею своею, прочитав речи Иисуса, прочитав Нагорную Его Проповедь, да и все, все Его речения, воскликаем с Нафанаилом, которому ничего апостолы не нашептывали: «Равви! Ты — Сын Божий! Ты — царь Израилев» (Ин. 1, 49). И исповедание Самарянки, и исповедание Никодима, и всего израильского народа, устилавшего одеждами Ему путь при входе в Иерусалим и восклицавшего: «благословен грядый во Имя Господне» (Мф. 21, 9) — все это есть *наше* исповедание, без всякого подсказывания и помимо какого-либо авторитета для нас самих евангелистов-рассказчиков.

И только когда эти иерусалимляне, с пальмовыми ветвями встретившие Его, завопили под легионами *Тита**, так удивительно точно предсказанными таинственным Посетителем Земли, сердце наше испугалось, заробело... и все смущилось в уме нашем.

Иисус человеком не был!

Но был ли Он Мессия?

И кто же Он, наконец?

Вот вопросы, которые томят несказанным томлением многие русские сердца. И они так глубоки, так захватывают фундамент всего дела, что ломкий хрусталь исторически сложившихся Церквей — католической, православной, лютеранской — никак не может не хрустнуть просто от самой постановки их.

Европа, цивилизация европейская выросла из Христианства. Даже как спор против Церквей, как «ереси» — она выросла из *него же*. Высота европейской цивилизации показует, как высоко было Христианство. Воистину, *не человек его основал!* Да: но к концу времен выяснились необоримые язвы цивилизации этой; и перед гробом ее, перед саваном ее позволительно спросить: *вечно ли это дело, т.е. все-таки Божие ли зерно лежит в основе ее?* Священникам, духовенству это невразумительно: они по инерции движутся, куда двигались, говорят, что говорили: языки их ометаллились и уже не могут переменить своего звона. О цивилизации они и не болят, или болят настолько, насколько она не принимает «их», критикует «их», не повинуется «им». «Мало

почета *нам*» — вот вся их скорбь об Европе. Но «почета» было много в средние века, когда им позволяли даже жечь людей, — и они жгли с удовольствием. Все это явно *не мессианство*. Оставим их. Итак, открылись неисцелимые язвы цивилизации: по этому узнаем не божественность зерна в почве ее

настоящий пламенный исповедник, желая *повторить* это исповедание, увидел бы, что оно сгорает в самый момент выговаривания его, от уст выговаривающих. От этого выходит, что «впадали в ересь» все «горячо веровавшие»: поразительная черта в Христианстве! Теперь оно еле держится... холодностью, равнодушием! Страшное дело: «стойте, не шевелитесь, — *не горячитесь, главное — не горячитесь*: иначе все рассыплется», — вот лозунг времен, лозунг *религии, Церкви!* Но если таково средство, «чтобы не погибнуть», то не явно ли, что для «исцеления» уже никакого средства нет...

